

Василий Авсеенко

# Школьные годы



Василий Григорьевич Авсеенко

## Школьные годы

«Пропускаю впечатленія моего ранняго детства, хотя изъ нихъ очень многое сохранилось въ моей памяти. Пропускаю ихъ потому, что они касаются моего собственнаго внутренняго міра и моей семьи, и не могутъ интересовать читателя. Въ этихъ беглыхъ наброскахъ я имею намереніе какъ можно менее заниматься своей личной судьбой, и представить вниманію публики лишь то, чему мне привелось быть свидетелемъ, что заключаетъ въ себе интересъ помимо моего личнаго участія...»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

# Содержание

Василий Григорьевич Авсеенко Школьные годы	
Отрывки изъ воспоминаній 1852–1863 . . . . .	0004
#2 . . . . .	0018
#3 . . . . .	0029
#4 . . . . .	0032
#5 . . . . .	0039
#6 . . . . .	0058
#7 . . . . .	0069
#8 . . . . .	0073
#9 . . . . .	0084

# Василій Григорьевич Авсеенко

## Школьные годы Отрывки изъ воспоминаній 1852—1863

Пропускаю впечатлѣнія моего ранняго дѣтства, хотя изъ нихъ очень многое сохранилось въ моей памяти. Пропускаю ихъ потому, что они касаются моего собственнаго внутренняго міра и моей семьи, и не могутъ интересовать читателя. Въ этихъ бѣглыхъ наброскахъ я имѣю намѣреніе какъ можно менѣе заниматься своей личной судьбой, и представить вниманію публики лишь то, чему мнѣ привелось быть свидѣтелемъ, что заключаетъ въ себѣ интересъ помимо моего личнаго участія.

Въ августъ 1852 года, меня отдали въ первую петербургскую гимназію. Преобразованная изъ бывшаго благороднаго пансіона при петербургскомъ университетѣ, она осталась закрытымъ заведеніемъ и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сохраняла еще прежній характеръ привилегированной

школы. Въ нее принимались только дѣти потомственныхъ дворянъ, въ обстановкѣ воспитанія замѣчалось стремленіе къ чему то болѣе порядочному, чѣмъ въ другихъ гимназическихъ пансіонахъ; кажется и плата за воспитанниковъ въ ней была положена значительно высшая.

Я былъ недурно подготовленъ дома, и кромѣ того доступъ въ учебныя заведенія тогда былъ очень легокъ. Начальство находило нужнымъ такъ сказать заманивать учениковъ, во всякомъ случаѣ встрѣчало ихъ съ распростертыми объятіями. Меня проэкзаменовали шутя и предложили принять во второй классъ; но отецъ мой, большой любитель порядка и послѣдовательности, предпочелъ помѣстить меня въ первый классъ — чтобъ ужъ непременно съ начала до конца, систематически, пройти весь курсъ.

Выросшій дома, среди соотвѣтствовавшей возрасту свободы, я съ большимъ трудомъ входилъ въ условія пансіонской жизни. Меня стѣсняла не дисциплина этой жизни, а невозможность остаться хотя на минуту одному съ самимъ собою. Дома я привыкъ читать; въ

гимназіи это было почти немислимо. Имѣть свои книги не разрѣшалось, а изъ казенной бібліотеки давали нѣчто совсѣмъ несообразное — въ родѣ напримѣръ допотопнаго путешествія Дюмонъ-Дюрвиля, да и то очень неохотно, какъ бы только во исполненіе воли высшаго начальства. Библіотекой завѣдывалъ инспекторъ, Василій Степановичъ Бардовскій — человекъ, обладавшій замѣчательною способностью «идти наравнѣ съ вѣкомъ», только въ самомъ невыгодномъ смыслѣ. Мнѣ говорили, что въ 60-хъ годахъ, будучи уже директоромъ, онъ страшно распустилъ гимназію, что и было причиною нареканій на это заведеніе; но въ мое время онъ обнаруживалъ во всей неприкосновенности закалъ педагога-бурсака, и раздѣлялъ всѣ увлеченія тогдашняго обскурантизма. Розга въ четырехъ младшихъ классахъ царствовала неограниченно, и лишь немногіе изъ моихъ товарищей избѣгли вмѣстѣ со мною знакомства съ этимъ спорнымъ орудіемъ воспитанія. Сѣкли, главнымъ образомъ, за единицы. Каждую пятницу вечеромъ дежурный гувернеръ выписывалъ изъ журналовъ

всѣхъ получившихъ на недѣль единицы или нули, а каждую субботу, на первомъ урокъ, Василій Степановичъ являлся въ классъ и кивкомъ головы вызывалъ попавшихъ въ черный списокъ. Товарищи провожали ихъ умиленными глазами... Надо впрочемъ сказать, что учиться было не тяжело, и избѣгать единицъ не представляло большихъ трудностей.

Забота о развитіи молодого ума, о воспитаніи благородныхъ инстинктовъ, какъ-то не вяжется съ розгой. И дѣйствительно, о такихъ вещахъ заботились мало. О жалкомъ составѣ гувернеровъ я скажу дальше; самъ инспекторъ, духъ и руку котораго мы ощущали ежеминутно, хлопоталъ только о водвореніи порядка и страха и объ искорененіи свободомыслія. Поощрять охоту къ чтенію, къ труду не по указкѣ, не входило въ его программу, и на просьбу о выдачѣ книги изъ бібліотеки большинство учениковъ получало неизмѣнный, иногда оскорбительный отказъ. «Занимайся лучше уроками! единицы имѣешь! Да, такъ-съ!» отвѣчалъ обыкновенно Василій Степановичъ, повертывая

между пальцами серебряную табатерку. «Да, такъ-съ» прекращало всякіе разговоры. Не знаю, самъ ли инспекторъ руководилъ покупкою книгъ для бібліотеки, но помню что составъ ея былъ удивительный. Она помѣщалась въ пріемной комнатѣ, и бывая тамъ я усердно разглядывалъ надписи на корешкахъ книгъ, но постоянно видѣлъ одни и тѣ-же «Сочиненія Нахимова». Съ тѣхъ поръ я долго не могъ отдѣлаться отъ представленія о Нахимовѣ, какъ о величайшемъ русскомъ писателѣ... Достать книгу по собственному желанію было невозможно. Помню, что я долго искалъ, какъ клада, томъ лирическихъ стихотвореній Пушкина. Въ то время Пушкина не было въ продажѣ: смирдинское изданіе (плохое, не полное, на сѣрой бумагѣ) уже исчерпалось, а анненковское еще не появилось; въ моей домашней бібліотекѣ не доставало почему-то одного тома, съ мелкими лирическими пьесами, и я зналъ нѣкоторыя изъ нихъ только по хрестоматіи Галахова. Пробѣлъ этотъ просто мучилъ меня, и я нѣсколько разъ, рискуя навлечь на себя гнѣвъ В. С-ча, приставалъ къ нему съ просьбой выдать мнѣ

изъ бібліотеки этотъ заколдованный томъ; но инспекторъ, находя такое стремленіе къ поэзіи предосудительнымъ, отказывалъ наотрѣзъ. Уже года черезъ два, учитель русскаго языка Сергѣевъ – не блестящая, но добрѣйшая, славная личность – выхлопоталъ Пушкина для себя, и подъ величайшимъ секретомъ передалъ его на одинъ день мнѣ. Это былъ, можетъ быть, одинъ изъ счастливейшихъ дней моего дѣтства.

Литературные взгляды начальства выражались между прочимъ въ выборѣ книгъ, раздаваемыхъ въ награду лучшимъ ученикамъ при переходѣ изъ одного класса въ другой. Мнѣ разъ дали какой-то «Дѣтскій театръ», состоящій изъ малограмотныхъ переводныхъ комедій, въ другой разъ «Очеркъ похода Наполеона I противъ Пруссіи въ 1806 году», въ третій одинъ томъ словаря Рейфа, и т. д.

Но самую печальную сторону управленія В. С-ча составляла его склонность примѣшивать къ педагогическому дѣлу политическій элементъ. Эта была, впрочемъ, общая черта времени. Воспитательныя заведенія чрезвычайно узко понимали задачу

искорененія въ молодыхъ умахъ зловредныхъ идей. Могу удостовѣрить, что ни у кого изъ моихъ товарищей никакихъ зловредныхъ идей не было; напротивъ, въ эпоху крымской войны, патріотическое воодушевленіе обнаружилось весьма сильно, и многіе изъ воспитанниковъ нашей гимназіи прямо со школьной скамьи отправились умирать на дымящихся бастіонахъ Севастополя. Тѣмъ не менѣе, мы всѣ постоянно чувствовали себя подъ какимъ то тягостнымъ давленіемъ политической подозрительности. Обыкновенныя дѣтскія шалости, можетъ быть и предосудительныя, но объясняемыя условіями закрытаго воспитанія, духомъ товарищества, нерѣдко разсматривались именно съ этой подозрительной quasi-политической стороны. Припоминаю случай лично со мной. Подружившись съ однимъ изъ товарищей, я въ рекреаціонные часы часто ходилъ съ нимъ по корридору, и наши разговоры казались намъ занимательнѣе обычныхъ игръ въ общей залѣ. Но гувернеръ Б-ни, усвоившій себѣ инквизиторскія воззрѣнія на самыя обыкновенныя вещи, запретилъ намъ оставаться

вдвоемъ, объяснивъ откровенно, что подозрѣваетъ нашу политическую благонадежность, и что наше отдаленіе отъ товарищей вызываетъ въ его воображеніи классическія фигуры Брута и Кассія... Привожу этотъ неважный случай, чтобъ показать до какой степени односторонне и несвободно относились тогдашніе педагоги къ этой несомнѣнно важной задачѣ общественнаго воспитанія. Надо прибавить, что исканіе политической подкладки въ незначительныхъ явленіяхъ, вытекающихъ прямо изъ условій пансіонской жизни, приводило къ результатамъ почти противоположнымъ: мы чуть не съ десятилѣтняго возраста получали неестественный интересъ къ политическимъ вопросамъ, и конечно гораздо больше толковали о нихъ, чѣмъ нынѣшніе мальчишки. Но, повторяю, относиться враждебно къ основамъ нашего государственнаго быта никому изъ насъ и въ голову не приходило. Такъ называемое свободомысліе скорѣе направлялось въ сферу религіозную — явленіе, какъ извѣстно, общее тогда всѣмъ закрытымъ учебнымъ заведеніямъ.

Я былъ бы очень радъ сказать что нибудь лучшее о покойномъ В С-чѣ. Лично я находилъ съ нимъ въ самыхъ благополучныхъ отношеніяхъ, и кажется даже пользовался особымъ его расположеніемъ. Я думаю, что это былъ вовсе не злой и не дурной, а только очень обыкновенный человекъ, всегда подчинявшійся малѣйшему давленію сверху и не выработавшій въ свою долговременную практику никакого собственного взгляда. Въ первой половинѣ 50-хъ годовъ, сверху требовали строгости, допускали и жестокость; В. С-чъ не только удовлетворялъ этому требованію, но и самъ несомнѣнно раздѣлялъ понятія и взгляды господствовавшего въ то время обскурантизма. Для него, человека ординарнаго, это было тѣмъ извинительнѣе, что при пассивной роли директора, на немъ лежали весь трудъ и вся отвѣтственность. Къ чести его здѣсь необходимо прибавить, что при всей практиковавшейся въ гимназіи строгости, у насъ почти совсѣмъ не прибѣгали къ исключенію воспитанниковъ. Тогдашнія учебныя заведенія вообще держались правила, что дѣти даны имъ счетомъ, и

счетомъ должны быть возвращены родителямъ и обществу. За всѣ четыре года моего нахожденія въ первой гимназiи, я знаю только одинъ случай изгнанія воспитанника изъ стѣнъ заведенія – именно нѣкоего Ч., пойманнаго en flagrant délitъ въ проступкѣ положительно безнравственномъ.

Директоромъ гимназiи при мнѣ былъ Викентій Васильевичъ Игнатовичъ. Кажется онъ былъ хорошо образованный человекъ, но мы видали его чрезвычайно рѣдко, и наврядъ ли онъ принималъ дѣятельное участiе въ дѣлахъ заведенія. Толстый, благодушный, съ очень благообразнымъ и умнымъ лицомъ, онъ производилъ впечатлѣнiе прiятнаго барина, неохотника до черной работы. Онъ любилъ впрочемъ показать, что занимался спеціально исторiей, иногда заходилъ на уроки г. Лыткина и самъ спрашивалъ учениковъ, именно тѣхъ, которые желали поправить передъ субботой полученную на недѣль единицу. Но всего превосходнѣе онъ былъ въ смыслѣ декоративномъ: такого директора можно было выставить куда угодно. Помню его какъ сейчасъ въ двухъ торжественныхъ

случаяхъ. Въ мартѣ 1855 года гимназія праздновала свой 25-лѣтній юбилей. Были министр народнаго просвѣщенія А. С. Норовъ и попечитель округа. Воспитанникамъ дали завтракъ, съ бокалами какого-то похожаго на шампанское напитка. В. В. Игнатовичъ, въ мундирѣ и во всѣхъ регаліяхъ, былъ представителемъ до помраченія; онъ рѣшительно затмѣвалъ весь сановный персоналъ, посѣтившій нашу столовую, и когда онъ, обратясь съ поднятымъ бокаломъ къ министру, произнесъ нѣсколько краткихъ словъ, упомянувъ въ нихъ и о какомъ-то орденѣ, «незадолго передъ симъ украсившемъ вашу достойную грудь» – то всѣ, даже самые маленькіе между нами, почувствовали какъ это хорошо было сказано... Въ другой разъ припоминается мнѣ почтенный В. В. Игнатовичъ, какъ онъ, въ разгарѣ восточной войны, вошелъ разъ къ намъ въ репетиціонную залу, и поздравившись необычайно ласково съ учениками, провозгласилъ: «Дѣти, любите ли вы Россію?» Мы отвѣчали что любимъ. Тогда директоръ, указавъ на производящійся повсемѣстно сборъ пожертвованій на воен-

ныя нужды, пригласилъ насъ открыть между собою подписку. Мы отозвались съ полною готовностью.

Я не могу судить, насколько вообще дѣятельность В. В. Игнатовича была плодотворна для гимназіи, но долженъ сказать, что это былъ несомнѣнно умный и добрый человѣкъ, и что навѣрное ни одинъ изъ его воспитанниковъ не имѣлъ съ нимъ непріятнаго столкновенія и не сохранилъ къ нему враждебнаго чувства. Если нельзя утверждать, чтобъ у насъ выразилась серьезная любовь къ нему, то только потому, что мы мало его видѣли.

Не знаю, насколько слѣдуетъ приписать винѣ директора неудачный выборъ своихъ помощниковъ по воспитательной части, но надо сознаться, что составъ гувернеровъ былъ изъ рукъ вонъ плохъ. Все это были иностранцы – въ расчетъ на практику въ новыхъ языкахъ – и почти поголовно люди безъ всякаго образованія. Крайнимъ невѣжествомъ поражали въ особенности французы. Одинъ изъ нихъ, бывшій барабанщикъ великой арміи, раненый казацкою пикой, препода-

валь въ первомъ классѣ французскій языкъ и не могъ поправлять ошибокъ въ диктовкѣ, не заглядывая въ книгу. Другой былъ до того старъ, что почти не стоялъ на ногахъ; третій, совсѣмъ глупый и безнравственный человѣкъ, рѣшительно не годился къ педагогическому дѣлу. Надо впрочемъ сказать, что французы были всѣ очень добрые люди и мы съ ними отлично уживались; за то удивительнымъ злопамятствомъ и тупымъ педантизмомъ отличались нѣмцы. Это были наши присные враги, съ которыми мы вели непрерывную войну... Не знаю, къ какой національности принадлежалъ упомянутый выше Б-ни; фамилія у него была итальянская, но онъ отлично говорилъ по-русски, а по характеру напоминалъ австрійскаго полиціанта меттерниховскихъ временъ. Надо было изумляться ловкости, съ какою онъ накрывалъ шалуновъ, и доходящей до благородства горячности, съ какою онъ умѣлъ самый пустой случай раздуть до степени чуть не политическаго дѣла. Австрійскій чиновникъ, обрусѣвшій въ тогдашнемъ Петербургѣ и совмѣстившій въ себѣ оба букета, бывалъ

иногда истиннымъ виртуозомъ своего дѣла.

**В**ремя, въ которое я поступилъ въ гимназію – считается переходнымъ въ исторіи нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній. Классическая система, водворенная гр. Уваровымъ, въ концѣ 40-хъ годовъ была заподозрѣна и нарушена. Греческій языкъ сохранился только въ нѣкоторыхъ гимназіяхъ, предназначенныхъ готовить учениковъ въ поступленію на историко-филологическіе факультеты, преподаваніе латинскаго рѣшено начинать только съ четвертаго класса; взамѣнъ того введено съ перваго класса преподаваніе естествознанія и увеличено число уроковъ по математикѣ. Приготовляющіе себя къ поступленію прямо изъ гимназіи на государственную службу обязывались слушать законовѣдніе. Этотъ новый учебный планъ вводился съ 1852 года, т. е. какъ разъ со времени моего поступленія. Со стороны теоретической, реформа очевидно не выдерживала ни малѣйшей критики и была ничѣмъ инымъ, какъ дѣломъ бюрократическаго невѣжества. Тѣмъ не менѣе, припоминая свои школьные годы, я не могу не ска-

зять, что у насъ учились недурно, и что получаемое нами образование достигало важнѣйшей цѣли – давало ученикамъ и умственное развитіе, и охоту къ дальнѣйшему научному труду. Безъ сомнѣнія, этимъ благопріятнымъ результатомъ гимназія была обязана не программамъ, представлявшимъ нелѣпый винигретъ какихъ-то клочковъ и обрывковъ, а выдающемуся таланту нѣкоторыхъ преподавателей и хорошему составу учениковъ.

Преподаватели были разные, молодые и старые, годные и негодные; но всѣ они были гуманные, въ большинствѣ очень симпатичные люди, и я не сомнѣваюсь, что изъ моихъ товарищей никто не сохранилъ ни къ одному изъ нихъ никакого недобраго чувства. Они стояли рѣшительно внѣ общаго направленія и скорѣе сами подвергались его давленію, чѣмъ давили насъ. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Образованные люди тогда еще глядѣли на вещи одинаково, и не было той розни, которая въ настоящее время раздѣляетъ и разъѣдаетъ наши культурныя силы. Университетская наука заключала въ

себѣ подразумѣваемый протестъ противъ духа реакціи, царившаго внѣ ея. Наши учителя были по большей части люди 40-хъ годовъ, вынесшіе изъ стѣнъ университетовъ тѣ гуманныя идеи, которыми впослѣдствіи характеризовали цѣлое поколѣніе. Я припоминаю, что мы еще въ низшихъ классахъ понимали этихъ людей, и что никогда въ нашихъ отношеніяхъ къ нимъ, въ нашихъ подчасъ очень глупыхъ шалостяхъ, не обнаруживалось ничего оскорбительнаго для нихъ. Устраивая разныя, иногда очень дерзкія непріятности гувернерамъ, эконому, учителямъ-иностранцамъ, мы всегда относились съ безусловнымъ и весьма замѣчательнымъ уваженіемъ къ русскимъ учителямъ, въ которыхъ чувствовали людей иного, лучшаго склада.

Въ почтенномъ персоналѣ нашихъ преподавателей первое мѣсто занималъ Василій Ивановичъ Водозовъ. Я пользовался его уроками только одинъ годъ, но могъ вполне оцѣнить и его дарованія, и его въ высшей степени достойную уваженія личность. Трудолюбивый, серьезный, искренно любящій свое

дѣло, искренно убѣжденный, что на скромномъ постѣ учителя русской словесности ему возможно принести много несомнѣнной пользы, онъ отдавался своимъ обязанностямъ если не съ увлеченіемъ, то съ горячимъ личнымъ интересомъ, который передавался ученикамъ. Характеръ его преподаванія былъ чисто практическій: мы писали сочиненія на заданныя тѣмы, потомъ эти сочиненія раздѣлялись между нами для грамматическаго и критическаго разбора, такъ что мы должны были находить другъ у друга ошибки, невѣрныя или неудачно выраженные мысли и т. д. Потомъ и сочиненія, и замѣчанія на нихъ, читались въ классѣ въ присутствіи учителя, который и являлся судьей авторскихъ пререканій, судьей неизмѣнно дѣльнымъ, строгимъ и безпристрастнымъ. Въ другіе часы мы занимались церковно-славянскою грамматикой, чтеніемъ классическихъ произведеній русской и иностранной (въ поэтическихъ переводахъ) литературы, сопровождавшимся бесѣдами подъ руководствомъ Василя Ивановича и т. д. Въ трехъ старшихъ классахъ устраивались кромѣ того литератур-

ные вечера, на которыхъ лучшіе воспитанники прочитывали въ присутствіи педагогическаго совѣта сочиненія болѣе значительнаго объема и лучше обработанныя, чѣмъ классныя упражненія. Благодаря такому характеру преподаванія, русская словесность была для насъ всѣхъ самымъ любимымъ предметомъ, и мы ждали урока Василя Ивановича, какъ праздника. Почтенный преподаватель былъ безъ сомнѣнія душою всего учебнаго дѣла; онъ болѣе всѣхъ заставлялъ насъ понимать привлекательную сторону умственного труда, болѣе всѣхъ сдѣлалъ для нашего воспитанія. Правда, матеріаль съ которымъ пришлось имѣть дѣло В. И. Водовозову, былъ очень благодарный. Отчасти вслѣдствіе нѣскольکو исключительнаго положенія нашей гимназіи, въ которую принимались только дѣти изъ самага образованнаго въ Россіи сословія, получавшія уже въ своихъ семействахъ болѣе или менѣе развитыя культурныя инстинкты, отчасти вслѣдствіе традицій заведенія, гдѣ русская словесность всегда составляла какъ бы центръ преподаванія, отчасти наконецъ благодаря

общимъ условіямъ и общему направленію времени – между нами, начиная съ самыхъ младшихъ классовъ, всегда находилось не мало очень умныхъ и даровитыхъ мальчиковъ, съ раннимъ и опредѣленнымъ расположеніемъ къ литературному труду, а еще болѣе такихъ, которые, не обнаруживая выдающагося личнаго дарованія, тѣмъ не менѣе до крайности любили все относящееся до литературы, и своимъ сочувствіемъ поддерживали болѣе даровитыхъ товарищей. Большинство изъ насъ не только училось въ исполненіе долга, но испытывало потребность сдѣлать нѣчто большее, заглянуть по-выше казенной черты, войти въ живую связь съ тѣми, кто зналъ больше насъ, кто мыслилъ лучше насъ; существовало несомнѣнно какое-то особое вѣяніе, сообщавшее нашимъ школьнымъ годамъ трудно-опредѣляемую привлекательность. Многіе между моими товарищами очень рано обнаружили серьезное литературное дарованіе. Изъ воспитанниковъ, съ которыми мнѣ привелось особенно сблизиться, назову В. В. Крестовскаго, какъ пріобрѣтшаго въ послѣдствіе наиболѣе громкое

литературное имя. Онъ былъ на два класса старше меня, но одинаковые вкусы, одинаковая потребность искать чего-то за казенной чертой пансіоннаго воспитанія, а всего болѣе рѣдкія личныя свойства симпатичной натуры Крестовскаго, сблизили насъ такъ тѣсно, что завязавшаяся въ гимназическихъ стѣнахъ дружба осталась для насъ обоихъ одною изъ самыхъ серьезныхъ привязанностей. Романтикъ по природѣ, Крестовскій еще въ младшихъ классахъ отличался самыми рѣзкими антипатіями къ безобразіямъ нашего пансіонскаго быта и потребностью создать среди этого быта свою собственную жизнь; онъ еще мальчикомъ писалъ красивые, звучные стихи, и въ гимназической курткѣ волновался всѣми интересами, занимавшими тогдашнюю, еще очень тѣсную семью культурныхъ людей.

Несомнѣнное поэтическое дарованіе обнаруживалъ другой мой товарищъ, Аполлонъ Кусковъ, братъ извѣстнаго впослѣдствіи поэта, переводчика Шекспира. Самъ онъ, кажется, никогда ничего не печаталъ; я рано потерялъ его изъ виду, и не знаю какія причи-

ны помѣшали развиться его таланту, обѣщавшему очень много. Онъ прекрасно владѣлъ также карандашомъ и красками и несомнѣнно могъ сдѣлать замѣтную артистическую карьеру. Извѣстно, впрочемъ, что никто такъ часто не обманываетъ ожиданій, какъ многообѣщающіе русскіе мальчики.

Я не могу не вспомнить здѣсь также одного изъ очень даровитыхъ моихъ товарищей, Куницкаго. Онъ умеръ кажется еще до окончанія курса гимназіи. Бойкій, дѣятельный, съ большимъ воображеніемъ и съ сатирическимъ, язвительнымъ складомъ ума, онъ весь былъ преданъ двумъ страстямъ — къ театру и ко всему французскому. Объ его способностяхъ можно судить по тому факту, что когда онъ былъ гимназистомъ третьяго и четвертаго класса, книгопродавецъ Вольфъ охотно покупалъ для изданія составляемыя имъ дѣтскія книги, преимущественно пьесы для дѣтскаго театра. Можетъ быть гимназистамъ и не слѣдуетъ сочинять книги, но во всякомъ случаѣ фактъ этотъ, мнѣ кажется, свидѣтельствуетъ не противъ заведенія, къ которому принадлежалъ Куницкій... Страсть

его къ театру, и особенно къ французскому, не знала границъ. По средамъ или по четвергамъ – не помню какіе тогда были абонементные дни – онъ почти всегда ухитрялся непостижимыми путями отпроситься домой, и засѣдалъ въ Михайловскомъ театрѣ, несмотря на строгость полицейскаго и педагогическаго надзора. Въ четвертомъ классѣ онъ былъ редакторомъ рукописнаго журнала, безконечно насъ интересовавшаго. Начальство знало о существованіи этого журнала, но находя его занимательнымъ даже для себя, смотрѣло сквозь пальцы...

При такомъ составѣ учениковъ, учителямъ, умѣвшимъ не вооружать насъ противъ себя, не трудно было вести свое дѣло. Не всѣ, конечно, обладали тѣми же способностями и такимъ же серьезнымъ отношеніемъ къ своимъ обязанностямъ, какъ В. И. Водовозовъ; но замѣчательно, что у насъ учились хорошо даже у преподавателей, такъ сказать, «невозможныхъ» съ нынѣшней точки зрѣнія. Такъ было, напримѣръ, съ латинскимъ языкомъ. Преподаватель этого предмета, 3-онъ, былъ удивительнѣйшій чудакъ. Недурной знатокъ

своего предмета и человекъ подчасъ очень взыскательный, онъ съ этою взыскательностью соединялъ что-то безконечно распущенное и шутовское. У него была страсть къ скабрзнымъ анекдотамъ, и онъ требовалъ, чтобъ къ каждому уроку одинъ изъ воспитанниковъ приготовилъ такой анекдотъ, но непременно имъ самимъ сочиненный, и остроумный. Какъ только войдетъ З-онъ въ классъ, одинъ изъ насъ тотчасъ выходитъ къ доскѣ и начинаетъ разсказъ... Если анекдотъ недурень, З-онъ хохочетъ, мы тоже; если не понравится – скажетъ: «ну, это глупо» – и непременно будетъ гораздо строже ставить балы. Казалось бы, такой учитель долженъ былъ имѣть самое разлагающее вліяніе на мальчиковъ, а на повѣрку выходило, что изъ латинскаго языка большинство училось очень недурно, и притомъ я никогда ни отъ кого изъ товарищей не слыхалъ, чтобъ этотъ предметъ считался труднымъ.

Другой учитель, Л-онъ, старикъ, преподававшій географію, любилъ самъ разсказывать анекдоты, и по большей части не совсѣмъ приличные. Въ такихъ разсказахъ

сплошь и рядомъ проходилъ цѣлый урокъ.

Въ 1855 году, съ моимъ отцомъ приключил-ся ударъ. Чрезвычайно крѣпкій отъ природы, регулярный во всѣхъ своихъ привычкахъ, онъ разстроилъ здоровье чрезмѣрнымъ трудомъ. Послѣ удара отъ него потребовали не только оставленія службы, но и переѣзда въ теплый климатъ. По этой причинѣ мы въ 1856 году переѣхали въ Кіевъ, и я перевелся въ кіевскую первую гимназію.

Три года, проведенные въ этомъ заведеніи, принадлежатъ къ самымъ скучнымъ годамъ моей жизни. Мнѣ было очень трудно привыкнуть къ совершенно иному тону, царившему въ провинціальной гимназіи. По составу преподавателей она считалась лучшею въ округѣ, и въ этомъ отношеніи переменна была не особенно чувствительна. Но совсѣмъ другимъ характеромъ отличался составъ воспитанниковъ. На нихъ на всѣхъ лежала тусклая печать провинціальности, тотъ сѣрый, подавляющій колоритъ обывательской ординарности, съ которымъ мнѣ впервые приходилось знакомиться. Артистическая даровитость, отличавшая моихъ петербургскихъ то-

варищей, значительный уровень ихъ умственного развитія, ихъ раннее, можетъ быть даже слишкомъ преждевременное, знакомство съ интересами значительно высшаго порядка – ничего этого въ кievской гимназіи я не встрѣтилъ.

Единственнымъ отраднымъ воспоминаніемъ за эти три года я обязанъ покойному учителю русской словесности, А. П. Иноземцеву. Это была очень даровитая личность, къ сожалѣнію рано унесенная смертью. Отличный знатокъ русскаго языка, человѣкъ съ правильнымъ и тонкимъ литературнымъ вкусомъ, А. П-чъ былъ совсѣмъ не на мѣстѣ въ гимназіи, гдѣ воспитанники состояли изъ поляковъ и малороссовъ, не только не умѣвшихъ правильно говорить по-русски, но даже неспособныхъ отдѣлаться отъ не русскаго акцента. Бывало онъ чуть не плакалъ съ досады, когда, на примѣръ, ученикъ скажетъ: «помочу перо», и въ цѣломъ классѣ не найдется ни одного, кто бы могъ его поправить. Мнѣ сдается, что самая смерть Иноземцева – отъ разлитія желчи – была подготовлена скукой провинціального прозябанія и воз-

ни съ поголовною добропорядочною бездарностью. Ю. Э. Янсонъ, заступившій его мѣсто, человѣкъ очень образованный и талантливый, но еще очень молодой, не догадался принять въ расчетъ умственный уровень учениковъ, но скоро убѣдился, что классъ только хлопаетъ на него глазами – и тоже огорчился. Впрочемъ, это случалось съ каждымъ учителемъ, который пытался хоть чуточку приподнять уровень преподаванія. Мнѣ было очень скучно, я учился гораздо хуже чѣмъ въ Петербургѣ, и хотя окончилъ курсъ хорошо, но безъ медали.

Въ университетъ я поступилъ въ сентябрѣ 1859 года. Въ то время историко-филологическій факультетъ въ Кіевѣ считался блистательнымъ. Его украшали В. Я. Шульгинъ, П. В. Павловъ, Н. Х. Бунге; число студентовъ на немъ было очень значительно, благодаря главнымъ образомъ тому, что въ кіевскомъ университетѣ вообще было много поляковъ, сыновей мѣстныхъ помѣщиковъ, а польское дворянство всегда отличалось склонностью къ словеснымъ наукамъ.

Я не намѣренъ останавливаться на своихъ личныхъ впечатлѣніяхъ, у всякаго очень свѣжихъ и памятныхъ за эту пору первой зрѣлости, первыхъ серьезныхъ думъ, первыхъ заботъ и наслажденій. Я хочу только набросать силуэты профессоровъ и отмѣтить особенныя черты, отличавшія университетскую жизнь въ знаменательное для края и для всего русскаго общества время 1859–1863 годовъ.

Начну съ печальнаго сознанія, что печать провинціальности лежала на университетѣ въ той же мѣрѣ какъ и на гимназіи. Она выра-

жалась и въ отсутствіи людей съ широкими взглядами, и въ слабой связи большинства профессоровъ съ литературными и общественными интересами, занимавшими Петербургъ, и въ подавляющемъ преобладаніи «обывательскихъ ординарностей», и во множествѣ мелочей – въ запоздаломъ появленіи какой нибудь книги, въ разнузданности сплетни, принимавшей тотчасъ самый уѣздный характеръ, въ старомодномъ слогѣ и въ невѣроятномъ акцентѣ большинства профессоровъ. Историко-филологическій факультетъ былъ значительно лучше юридическаго и математическаго, но я думаю что и на этомъ факультетѣ только двое могли назваться дѣйствительно талантливыми тружениками науки – В. Я. Шульгинъ и Н. Х. Бунге.

Виталій Яковлевичъ Шульгинъ считался свѣтиломъ университета. И въ самомъ дѣлѣ, такія даровитыя личности встрѣчаются не часто; по крайней мѣрѣ въ Кіевѣ онъ былъ головою выше не только университетскаго, но и всего образованнаго городского общества, и едва ли не одинъ обладалъ широкими взглядами, стоявшими надъ чертой

провинціального міросозерцанія. Самая наружність его была очень оригінальная; съ горбами спереди и сзади, съ лицомъ столько же некрасивымъ по чертамъ, сколько привлекательнымъ по умному, язвительному вираженію, онъ производилъ сразу очень сильное впечатлѣніе. Я думаю, что физическая уродливість имѣла вліяніе на образованіе его ума и характера, рано обративъ его мысли въ серьезную сторону и сообщивъ его натурѣ чрезвычайную нервную и сердечную впечатлительность, а его уму — наклонность къ сарказму, къ желчи, подчасъ очень ядовитой и для него самого, и для тѣхъ на кого обращалось его раздраженіе. Послѣднее обстоятельство было причиною, что и въ университетскомъ муравейникѣ, и въ городскомъ обществѣ, у Шульгина было не мало враговъ; но можно сказать съ увѣренностью, что все болѣе порядочное, болѣе умное и честное, неизмѣнно стояло на его сторонѣ. Надо замѣтить притомъ, что при своей наклонности къ сарказму, при своемъ болѣею частью язвительномъ разговорѣ, Шульгинъ обладалъ очень горячимъ, любя-

щимъ сердцемъ, способнымъ къ глубокой привязанности, и вообще былъ человѣкъ очень добрый, всегда готовый на помощь и услугу.

Какъ профессоръ, Шульгинъ обладалъ огромными дарованіями. Не рѣшаюсь сказать, чтобъ онъ былъ глубокой ученый въ тѣсномъ смыслѣ слова, но никто лучше его не могъ справиться съ громадною литературой предмета, никто лучше его не умѣлъ руководить молодыми людьми, приступающими къ спеціальнымъ занятіямъ по всеобщей исторіи. Критическія способности его изумляли меня. Въ мою бытность студентомъ, онъ читалъ, между прочимъ, бібліографію древней исторіи. Эти лекціи могли назваться въ полномъ смыслѣ образцовыми. Съ необычайною краткостью и ясностью, съ удивительной, чисто-художественной силою опредѣленій и характеристикъ, онъ знакомилъ слушателей со всей литературой предмета, давая однимъ руководящую нить для ихъ занятій, другимъ восполняя недостатокъ ихъ собственной начитанности. Притомъ онъ въ замѣчательной мѣрѣ обладалъ даромъ слова.

Его рѣчь, серьезная, сильная, изящная, не лишенная художественныхъ оттѣнковъ, лилась съ замѣчательною легкостью, и ни въ одной аудиторіи я никогда не видѣлъ такого напряженнаго всеобщаго вниманія. Но въ особенности даръ слова Шульгина обнаружился на его публичныхъ чтеніяхъ по исторіи французской революціи. Возможность раздвинуть рамки предмета и высокій интересъ самаго предмета, при отсутствіи тѣхъ условій, которыя неизбѣжно вносятъ въ университетское преподаваніе нѣкоторую академическую сухость — все это позволило талантливому профессору довести свои чтенія, по содержанію и по формѣ, до такого блеска, что даже пестрая, на половину дамская, аудиторія не могла не испытывать артистическаго наслажденія.

Мои личные отношенія къ покойному Виталію Яковлевичу были настолько близки и продолжительны, что я имѣлъ случай видѣть и оцѣнить его и какъ профессора, и какъ редактора «Кіевлянина», и какъ члена общества, и какъ человѣка въ его домашней обстановкѣ. Вездѣ онъ обнаруживалъ тотъ же серьезный и вмѣстѣ блестящій умъ, тотъ

же живой интересъ ко всему честному, чловѣчному, то же открытое, горячо-бьющееся сердце, ту же неутомляющуюся потребность дѣятельности. Роль его какъ публициста, создавшаго первый въ Россіи серьезный провинціальный органъ, сразу поставленный на высоту отвѣчающую затруднительнымъ политическимъ обстоятельствамъ края — достаточно извѣстна; но она уже выходитъ изъ предѣловъ моихъ «школьныхъ лѣтъ», и я можетъ быть коснусь ея въ другой разъ и въ другомъ мѣстѣ. Теперь, возвращаясь къ университетской дѣятельности Шульгина, я долженъ прибавить, что его преподаваніе отличалось одною весьма важною особенностью: онъ считалъ своею обязанностью помогать занятіямъ студентовъ не однимъ только чтеніемъ лекцій, но и непосредственнымъ руководствомъ тѣхъ изъ нихъ, которые избирали всеобщую исторію предметомъ своей спеціальности. У него у перваго явилась мысль устроить нѣчто въ родѣ семинарія, на подобіе существующихъ въ нѣмецкихъ университетахъ и въ парижской Ecole Normale; эту мысль раздѣлялъ также Н. Х. Бунге, кото-

рому и привелось осуществить ее на дѣлѣ; Шульгинъ же, къ величайшей потерѣ для университета, въ 1861 году вышелъ въ отставку. Тѣмъ не менѣе у себя дома, въ ограничен-ныхъ, конечно, размѣрахъ, онъ былъ настоя-щимъ руководителемъ историческаго семинарія, и его бесѣды, его совѣты, его все-гдашняя готовность снабдить всякаго жела-ющаго книгой изъ своей прекрасной библіотеки — безъ сомнѣнія памятны всѣмъ моимъ товарищамъ. Виталій Яковлевичъ считалъ какъ бы своимъ нравственнымъ и служебнымъ долгомъ создать себѣ преемни-ка изъ среды собственныхъ слушателей, и, дѣйствительно, покидая университетъ, имѣлъ возможность представить совѣту двухъ студентовъ, посвятившихъ себя спеціальнымъ занятіямъ по всеобщей исторіи.

Причины, побудившія Виталія Яковлевича рано оставить университетъ, заключались отчасти въ тяжелыхъ семейныхъ утрахахъ, разстроившихъ его донельзя впечатлительную и привязчивую натуру, отчасти въ непріятностяхъ, сопровождавшихъ его профессорскую дѣятельность. Привлекая къ себѣ всѣхъ болѣе даровитыхъ членовъ университетской корпораціи, Шульгинъ не пользовался расположеніемъ другихъ сотоварищей, и не умѣлъ относиться къ этому обстоятельству съ достаточнымъ равнодушіемъ. Ему хотѣлось отдохнуть.

Спустя два года, громаднй успѣхъ предпринятыхъ имъ публичныхъ чтеній о французской революціи заставилъ членовъ университетскаго совѣта догадаться, что если причиною выхода Шульгина и было разстроенное состояніе здоровья, то причина эта во всякомъ случаѣ уже устранена. Потеря, понесенная университетомъ съ отставкою даровитѣйшаго изъ его профессоровъ, была такъ чувствительна, надежды на замѣну было такъ мало, что между бывшими сослуживцами Виталія Яковлевича началось движеніе,

дѣлавшее имъ во всякомъ случаѣ большую честь. Стали думать, какимъ образомъ вернуть университету того, кто былъ душою и свѣтиломъ его. Затрудненій, разумѣется, встрѣтилось много. Тогда уже дѣйствовалъ новый уставъ, требовавшій отъ профессора степени доктора. Шульгинъ не имѣлъ этой степени, и слѣдовательно могъ быть опредѣленъ только доцентомъ, съ ничтожны-мъ жалованьемъ. На такія условія онъ не соглашался. Тогда ухватились за параграфъ устава, которымъ университету предоставлялось право возводить въ степень доктора лицъ, извѣстныхъ своими учеными трудами. Вопросъ баллотировали, получилось большинство, представили министру народнаго просвѣщенія объ утвержденіи Шульгина въ докторскомъ званіи и о назначеніи его ординарнымъ профессоромъ. Министръ (г. Головинъ) прислалъ Виталію Яковлевичу докторскій дипломъ, при очень любезномъ письмѣ. Но къ сожалѣнію, во всю эту, надѣлавшую въ свое время много шума, исторію, вошли обстоятельства, побудившія Шульгина отказаться и отъ диплома, и отъ

назначенія.

Какъ разъ въ это время разыгралось польское возстаніе. Событія расшевелили мѣстную администрацію, отъ нея потребовали болѣе живой, осмысленной дѣятельности. Въ перспективѣ имѣлись организаторскія мѣры, долженствовавшія совершенно пересоздать мѣстную жизнь; почувствовалась вмѣстѣ съ тѣмъ потребность въ политическомъ органѣ, который служилъ бы дѣлу пересозданія, явился бы истолкователемъ новой правительственной программы, будилъ бы русскіе элементы въ краѣ. Такъ возникъ «Кіевлянинъ». Виталій Яковлевичъ первый откликнулся новому движенію, горячо принялъ программу обновленія мѣстной жизни, и распростившись окончательно съ идеей вновь вступить въ университетъ, отдался всей душой, со всею свойственной ему неутомимостью, дѣятельности провинціального публициста.

Каѳедру всеобщей исторіи раздѣлялъ съ Шульгинымъ профессоръ Алексѣй Ивановичъ Ставровскій. Это былъ совершенный антиподъ Виталія Яковлевича, и какъ слѣдуетъ

антиподу, очень его недолюбливалъ. Семинаристъ и потомъ воспитанникъ бывшаго главнаго педагогическаго института, онъ получилъ степень магистра всеобщей исторіи за диссертацию подъ заглавіемъ: «О значеніи среднихъ вѣковъ въ разсужденіи къ новѣйшему времени». Говорятъ, покойный Грановскій, когда хотѣлъ потѣшить своихъ друзей, извлекалъ изъ особаго ящика эту удивительнѣйшую книжицу и прочитывалъ изъ нея избранныя мѣста. Въ университетской библіотекѣ мнѣ удалось видѣть экземпляръ этого творенія; помню, что въ немъ между прочимъ говорилось что-то такое о происхожденіи портупей и темляковъ... Во все мое студенчество я не болѣе трехъ разъ посѣтилъ лекціи Ставровскаго и очень затрудняюсь опредѣлить, какъ и что онъ читалъ; товарищи рассказывали о нихъ, какъ о винигретѣ какихъ-то выдохшихся анекдотовъ, собранныхъ въ книгахъ прошлаго столѣтія. Но я знаю, что недовольствуясь курсомъ всеобщей исторіи, Ставровскій читалъ намъ еще науку, по собственнымъ его словамъ имъ самимъ изобреътенную, именно

«теорію історію». Подъ такимъ заглавіемъ она красовалась и въ печатномъ росписаніи факультетскихъ чтеній. Я былъ на первой лекціи этой *scienza nuova*; профессоръ совершенно ошеломилъ меня живописностью метафоръ – то онъ сравнивалъ історію съ голой женщиной подъ прозрачною дымкою, сквозь которую, т. е. дымку, проникаетъ пытливыиъ взоръ историка, то строилъ какую-то необычайно сложную машину, на подобіе шарманки, объясняя пораженнымъ слушателямъ, что валъ означаетъ челоѡчество, зубцы, за которые онъ задѡваетъ – событія, а рукоятка, которая его вращаетъ – ужъ не помню что, чуть ли не самого профессора. Отъ дальнѡйшаго слушанія «теоріи історіи» я уклонился. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что слушателями Ставровскаго могли быть лишь люди не только не дорожащіе временемъ, но и обладающіе крѣпкими нервами. Послѣднее условіе требовалось въ виду того, что во всѣхъ иностранныхъ словахъ и именахъ профессоръ произносилъ е какъ русское рз; , и выговаривалъ Мѣнтѣнонѣ, рѣнѣсансѣ, и пр. Въ большомъ количествѣ это выходило

нестерпимо, и студенты увѣряли меня, что однажды генераль-губернаторъ князь Васильчиковъ, присутствуя на университетскомъ актѣ и слушая, какъ Ставровскій перечислялъ въ своей рѣчи заглавія французскихъ книгъ, почувствовалъ себя настолько дурно, что въ слѣдующіе годы, получая приглашеніе на актъ, всегда спрашивалъ ректора: «а не будетъ ли профессоръ Ставровскій произносить французскія слова?»

Рѣшительно не могу припомнить, какъ мы держали экзаменъ изъ «теоріи исторіи». Сдается мнѣ, что факультетъ вовсе уволил насъ ютъ этой непосильной задачи. Зато очень хорошо помню, что оставшись по выходѣ Шульгина единственнымъ представителемъ всеобщей, а по выходѣ П. В. Павлова, также и русской исторіи въ университетѣ, Ставровскій задавалъ для семестральныхъ сочиненій очень удивительныя тѣмы. Къ сожалѣнію, не могу привести ихъ здѣсь въ точности, но знаю, что когда я разъ въ шутку сказалъ товарищамъ, будто Ставровскій задалъ сочиненіе: «о пользѣ Европы» – никто не подумалъ, что я говорю въ шутку.

Такъ какъ я былъ рекомендованъ совѣту Шульгинымъ, то нерасположеніе Ставровскаго въ послѣднему перенеслось и на меня, и я очень хорошо понималъ, что на окончательныхъ экзаменахъ онъ не будетъ ко мнѣ снисходителенъ. Можетъ быть имъ руководило и другое соображеніе, чисто практическаго свойства: онъ дослуживалъ срокъ и долженъ былъ баллотироваться на добавочное пятилѣтіе. Если бы въ тому времени явился кандидатъ на каѳедру всеобщей исторіи, шансы быть избраннымъ для него очень со- вратились бы; и напротивъ, при торжественномъ провалѣ рекомендованнаго кандидата, факультетъ принужденъ былъ бы хлопотать объ оставленіи Ставровскаго на каѳедрѣ. По этимъ причинамъ я не сомнѣвался, что мои экзамены по всеобщей и русской исторіи превратятся въ нѣкое состязаніе. Къ счастью, противникъ мой оказался изъ не очень сильныхъ. Древнюю исторію я сдалъ еще при Шульгинѣ; изъ новой мнѣ попался билетъ о Людовикѣ святомъ. Разсказываю я чуть не съ полчаса – Ставровскій, не глядя на меня, только потираетъ переносицу. «Ну, а что-жъ вы

самаго главнаго не рассказали до сихъ поръ?» вдругъ перебиваетъ онъ меня. Признаюсь, я сталъ втупикъ: кажется все ужъ сдаль по порядку, и вдругъ отъ меня требуютъ самаго главнаго! – «А исторію Тристана забыли?» съ торжествующимъ видомъ разрѣшилъ мое недоумѣніе Ставровскій. Я только переглянулся съ Н. Х. Бунге, находившимся ассистентомъ на экзаменѣ, и по язвительной улыбкѣ на его лицѣ понялъ, что мнѣ поставятъ кандидатскій балъ. Очевидно Тристанъ далъ холостой выстрѣлъ.

Съ русской исторіей дѣло вышло круче. Я не былъ ни на одной лекціи по этому предмету и рѣшительно не зналъ, что изъ него дѣлалъ Ставровскій. Товарищи говорили, что онъ сильно напираетъ на археологію, что онъ самъ производилъ какія то раскопки подъ Кіевомъ и даже поднесъ однажды бывшему генераль-губернатору Бибикову какой-то котелокъ съ древностями, сохранявшійся съ тѣхъ поръ въ университетскомъ музеѣ и называемый студентами «Бибиковскимъ горшкомъ.» Все это мало меня успокоивало, тѣмъ болѣе что русской исторіей я занимался го-

раздо меньше чѣмъ всеобщей, и ужь въ археологіи вовсе не былъ силенъ. А на экзаменѣ, точно на смѣхъ, попадается мнѣ билетъ: «культурное состояніе Руси въ удѣльномъ періодѣ». Ставровскій какъ увидалъ, такъ и повеселѣлъ... Ну, пришлось и о Бибииковскомъ горшкѣ поговорить... Ассистентомъ, на бѣду, былъ профессоръ русской словесности Селинъ, на благоволеніе котораго я никакъ не могъ разсчитывать. Поставили они мнѣ вдвоемъ 3 (высшій, кандидатскій балъ былъ 4). Помощью такой отмѣтки изъ главнаго предмета со мной было бы совсѣмъ покончено, потому что не получившій кандидатской степени разумѣется не могъ бы выступить претендентомъ на кафедру – но факультетъ взглянулъ на дѣло иначе, и пригласилъ Ставровскаго переправить отмѣтку.

Тѣмъ, однако, еще не кончились мои состязанія съ Ставровскимъ. Въ виду только что утвержденного новаго устава, я предположилъ тотчасъ по окончаніи курса искать приватъ-доцентуры. Надо было подать *pro venia legendi*. Шульгинъ, продолжавшій изъ своего уединенія интересоваться универси-

тетскими дѣлами, посовѣтоваль мнѣ, не затѣвая ничего новаго, представить просто кандидатское сочиненіе, благо оно было напечатано. Я послушался, хоть работа эта казалась мнѣ мало достойною. Она представляла, во всякомъ случаѣ, двойкую выгоду – была готова, и притомъ относилась къ эпохѣ, которою я наиболѣе занимался, слѣдовательно защита на диспутѣ представлялась мнѣ дѣломъ обезпеченнымъ. Ставровскій, назначенный въ числѣ оппонентовъ, тѣмъ не менѣе заранѣе торжествовалъ, рассказывалъ что у него приготовлено болѣе ста возраженій, что онъ истребитъ меня съ корнемъ. Въ результатѣ вышелъ такой скандалъ, какого вѣроятно еще никогда не было ни на одномъ диспутѣ. Чуть не весь городъ собрался въ университетскую залу. Ставровскій началъ напоминаніемъ, что университетъ носить имя «императорскаго», и что поэтому защищаемыя въ немъ диссертаціи обязаны быть безукоризнены. Неожиданное предисловіе это сразу озадачило публику... Затѣмъ почтенный оппонентъ мой развернулъ тетрадь съ обѣщанными въ числѣ болѣе 100

возраженіями. Но, Боже мой, что это были за возраженія! Напримѣръ, прочитываетъ онъ изъ цитируемой мною книги нѣмецкую фразу и доказываетъ что я ее совсѣмъ не такъ перевелъ. Дѣйствительно, между нѣмецкой фразой и моей нѣтъ ничего общаго. Всѣ недоумѣваютъ, я самъ ничего не понимаю... Попечитель, покойный сенаторъ Витте, предполагаетъ что у насъ были разныя изданія нѣмецкой книги; беретъ ее у Ставровскаго, беретъ у меня – оказывается совершенно одно и то же. Тогда я прочитываю по-нѣмецки ту фразу на которую ссылаюсь – переводъ выходитъ совершенно вѣренъ. Вся штука въ томъ, что Ставровскій взялъ на указанной мною страницѣ нѣмецкаго автора первую попавшуюся ему фразу, и вообразилъ, что это именно та фраза, которую я цитирую въ русскомъ переводѣ. По залѣ пробѣгаетъ сдержанный хохотъ, Ставровскій быстро переворачиваетъ листокъ и читаетъ дальше. Праздничное настроеніе публики все растетъ, диспутъ принимаетъ характеръ совершенно несвойственный академическому торжеству. Наконецъ Ставровскій догадывается, что надо бро-

свить свою тетрадку, и уступаетъ очередь второму оппоненту.

А въ концѣ концовъ, болѣе чѣмъ благополучный исходъ диспута ни къ чему не привелъ. Я читалъ лекціи всего одинъ семестръ. По новому уставу, политическая экономія отнесена была къ курсу юридическихъ наукъ, и такимъ образомъ Н. Х. Бунге выбылъ изъ нашего факультета. Съ этой переменной факультетъ можно сказать разсыпался, поступивъ въ полную власть Селина и Ставровскаго. Мнѣ за мои лекціи не назначили никакого вознагражденія, не признали ихъ обязательными для студентовъ и отвели для нихъ такой часъ, когда всѣ стремятся объѣдать. Со всѣми этими условіями я помирился бы, потому что аудиторія моя все-таки была полна, но вопросъ для меня заключался въ томъ – какимъ же образомъ я буду держать магистерскій экзаменъ при такомъ составѣ факультета? Очевидно судьба моя совершенно была въ рукахъ Ставровскаго. Ъхать въ другой университетскій городъ мнѣ не хотѣлось, да и ученая служба, при ближайшемъ знакомствѣ съ мѣстнымъ профессорскимъ персоналомъ,

перестала мнѣ нравиться — и я принялъ приглашеніе генераль-губернатора Анненкова раздѣлить съ Шульгинымъ труды по редакціи «Кіевлянина».

Съ этими воспоминаніями я однако зашелъ слишкомъ впередъ. Мнѣ надо снова возвратиться къ первымъ годамъ моего студенчества, чтобъ сказать о третьемъ профессоръ-историкѣ, П. В. Павловѣ.

Имя Платона Васильевича въ началѣ 60-хъ годовъ, т. е. съ переѣздомъ его въ Петербургъ, сдѣлалось очень извѣстно. Но въ Кіевѣ, и въ особенности между студентами, онъ еще раньше пользовался громадною популярностью. Его любили, ему поклонялись, его именемъ клялись. Онъ соединялъ въ себѣ репутацію основательнаго ученаго съ ореоломъ носителя такъ называемыхъ «лучшихъ идей», призваннаго руководить молодымъ поколѣніемъ въ его стремленіи къ общественному и нравственному идеалу. Въ то время, т. е. въ 1859 году, когда я поступилъ въ университетъ, роль эта была довольно новая. Мои товарищи были, такъ сказать, полны Павловымъ. Понятно, съ какимъ

нетерпѣніемъ ждалъ я увидѣть и услышать его. Громадная, едва ли не самая большая во всемъ университетѣ, аудиторія была биткомъ набита. Сошлись разумѣется не одни только филологи и юристы, для которыхъ читалась русская исторія – сошлись студенты всѣхъ факультетовъ и всѣхъ курсовъ, поляки, хохлы, жидаы – въ особенности жидаы. Позади каѳедры, у стѣны, въ проходѣ, густо тѣснились студенты и постороннія лица, устроившіяся кое-какъ на натасканныхъ отовсюду скамейкахъ. Сторожъ Данилка, маленькій, плутоватенькій солдатенокъ, весь сіялъ, точно это былъ его собственный праздникъ. Наконецъ профессоръ появился. Это былъ средняго роста человекъ, очень симпатичной, даже красивой наружности, съ застѣнчивымъ румянцемъ на лицѣ и прекрасными блистающими глазами. Робко пробираясь въ толпѣ, вошелъ онъ на каѳедру, и лекція началась. Съ этой самой минуты возбужденное состояніе, въ которомъ я находился, сразу упало. Я былъ непріятно разочарованъ. Профессоръ, во-первыхъ, былъ совершенно лишенъ дара слова. Рѣчь его туго тяну-

лась, останавливаясь подолгу послѣ каждого знака препинанія, точно онъ диктовалъ плохо пишущему классу. Очевидно, содержаніе лекціи было усвоено профессоромъ лишь въ главныхъ чертахъ, и онъ уже на кафедрѣ, съ большимъ трудомъ, искалъ выраженія своей мысли. Во-вторыхъ, самая мысль профессора производила очень смутное впечатлѣніе. Передъ нами происходили какія то потуги, исканіе чего то еще не уяснившася самому профессору, блужданіе въ какой то новой мѣстности, съ отступленіями, съ возвращеніями назадъ. Никакого отношенія къ русской исторіи лекція не имѣла. Она составляла введеніе къ такъ-называемой «физиологіи общества». Это была попытка систематизировать въ научномъ духѣ разрозненныя положенія позитивизма, клочки изъ антропологіи, отголоски еще не опредѣлившагося ученія о связи исторіи съ естествознаніемъ. Мнѣ показалось, что профессоръ куда то сбился, гдѣ то завязъ... Тѣмъ не менѣе я аккуратно посѣщаль его лекціи въ теченіи всего семестра – и съ сожалѣніемъ долженъ сказать, что первоначальное

впечатлѣніе мое не измѣнилось. Я ни разу не услышалъ ни одного слова, относящагося къ предмету курса. Продолжалась все та же «физиологія общества» въ перемежку съ антропологіей и археологіей, все то же тягучее вымучиваніе недающихся фразъ. Притомъ профессоръ ужасно конфузился, или волновался, въ глазахъ его часто стояли слезы.

Существенная разница между впечатлѣніемъ, производимымъ Платономъ Васильевичемъ, и его установившейся гораздо раньше репутаціей, долго приводила меня въ недоумѣніе. Впослѣдствіи, она для меня объяснилась. Почтенный профессоръ принадлежалъ къ категоріи крайне и мучительно увлекающихся людей. Онъ передъ тѣмъ только что совершилъ продолжительную поѣздку за границу, и эта поѣздка отчасти сбила его съ толку. Онъ пристрастился къ археологіи и исторіи искусства, волновался итальянскими и готическими памятниками, всѣмъ тѣмъ, что ему открыли европейскіе музеи. Вкусъ къ этой новой области настолько овладѣлъ имъ, что совершенно оттѣснилъ прежніе интересы. Притомъ, умъ П. В. Павлова былъ изъ

тѣхъ, которые не удовлетворяются спеціальнымъ знаніемъ, которые вѣчно тревожатся потребностью вмѣстить въ себѣ «все человѣческое». Отсюда постоянное блужданіе въ общемъ и безграничномъ, чрезмѣрная отзывчивость на вопросы жизни, безпокойная жажда большой и еще не опредѣлившейся роли. Натура высоко-симпатичеая и глубоко-несчастливая, какъ мнѣ казалось...

Я однако остался при томъ убѣжденіи, что несмотря на свои обширныя познанія и несомнѣнную даровитость, Платонъ Васильевичъ былъ обязанъ своей громадной популярностью въ университетѣ не своимъ заслугамъ, какъ ученаго и профессора, а своей роли носителя «лучшихъ идей» и руководителя молодежи. Къ сожалѣнію, лично я не наблюдалъ его въ этой роли — онъ при мнѣ оставался въ университетѣ лишь три-четыре мѣсяца — но я видѣлъ на своихъ старшихъ товарищахъ, что вліяніе его на нихъ было громадное. Въ этомъ смыслѣ онъ имѣлъ то же значеніе, какъ Грановскій въ Москвѣ, какъ Бѣлинскій въ литературныхъ кружкахъ. Онъ былъ носителемъ общихъ гуманныхъ и про-

грессивныхъ идей, наслѣдованныхъ отъ нихъ обоихъ. Къ сожалѣнію, время и условія, среди которыхъ пришлось дѣйствовать Платону Васильевичу, были совсѣмъ иныя. На кіевской почвѣ эти общія идеи сталкивались съ частными вопросами – польскимъ, украинофильскимъ и крестьянскимъ. Въ 1859 году еще не видно было, въ какой формѣ произойдетъ столкновение, но уже чувствовалась трудность пребыванія въ сферѣ общихъ идей. Мнѣ, какъ человѣку пришлому въ краѣ, это было довольно замѣтно, и можетъ быть именно по этой-то причинѣ мнѣ постоянно казалось, что Платонъ Васильевичъ не имѣетъ подъ ногами почвы.

Въ началѣ 1860 года уважаемый профессоръ покинулъ университетъ и переѣхалъ въ Петербургъ, куда давно уже стремился. Студенты точно осиротѣли... Рѣдкія письма, получавшіяся отъ Платона Васильевича, прочитывались кажется каждымъ образованнымъ человѣкомъ въ городѣ... Потомъ дошли слухи, что онъ принужденъ покинуть Петербургъ, что въ его судьбѣ произошла печальная перемѣна. Горе знавшихъ его было

неподдѣльное, искреннее... Въ настоящее время П. В. Павловъ снова возвращенъ кievскому университету, гдѣ занимаетъ кафедру исторіи искусства. Я не сомнѣваюсь, что новое поколѣніе студентовъ относится къ нему съ тѣмъ же уваженіемъ, съ тѣми же горячими симпатіями, съ какими относились мы.

Рядомъ съ почтенными именами Шульгина и П. В. Павлова должно занять свое законное мѣсто не менѣе почтенное имя Н. Х. Бунге. Дѣятельный, серьезный, нѣсколько сухой по натурѣ, нѣсколько отзывавшійся нѣмцемъ, онъ никогда не пользовался слишкомъ горячими симпатіями студентовъ, но конечно между нами не было ни одного, который отказалъ бы ему въ безусловномъ уваженіи. И какъ профессоръ, и какъ ректоръ, Николай Христіановичъ былъ неизмѣннымъ представителемъ законности, справедливости, долга, серьезнаго отношенія ко всякому серьезному дѣлу. При всемъ томъ, онъ былъ очень живой человѣкъ, безъ всякой примѣси педантизма и нѣмецкой ограниченности, отзывчивый на всѣ общественные и культурные интересы. Но главное — это былъ очень надежный человѣкъ, и знающіе его были увѣрены, что всякое дѣло, зачинающееся при его участіи, непременно будетъ поставлено и сдѣлано хорошо, т. е. умно, дѣльно, справедливо и гуманно, съ нѣмецкою серьезностью и безъ русской страстности и распущенности. На экзаменъ,

гдѣ онъ былъ ассистентомъ, достойный студентъ никогда не могъ срѣзаться; въ комиссіи, гдѣ онъ былъ членомъ, необдуманное или пристрастное мнѣніе никогда не могло восторжествовать. Однимъ словомъ, натура Николая Христіановича стояла какъ бы посрединѣ между русскою и нѣмецкою, занимствуя лучшее у той и другой. Такіе люди рѣдки и – необыкновенно полезны.

Какъ профессоръ, Николай Христіановичъ очень заботился о томъ чтобъ заставить студентовъ заниматься какъ слѣдуетъ. Его считали требовательнымъ, его экзамень на многихъ наводилъ страхъ. Дѣйствительно, плохой студентъ не могъ рассчитывать получить у него кандидатскій балль. Но за то, если студентъ занимался серьезно какимъ нибудь другимъ предметомъ, то могъ быть увѣренъ, что Николай Христіановичъ не только не срѣжетъ его самъ, но еще поддержитъ его передъ факультетомъ. Не довольствуясь чтеніемъ лекцій, отличавшихся всегда содержательностью и мастерскимъ изложеніемъ, Н. Х. Бунге заставлялъ студентовъ дѣлать извлеченія изъ рекомендованныхъ имъ авто-

ровъ, и самый экзамень его заключался не столько въ отвѣтъ на вопросъ по программѣ, сколько въ отчетъ о собственной работѣ экзаменующагося надъ литературою предмета.

Не безъ сожалѣнія я долженъ сказать, что этимъ исчерпываются мои воспоминанія о профессорахъ, составлявшихъ дѣйствительное украшеніе историко-филологическаго факультета. Провинціальное положеніе университета было причиною, что пополненіе убыли въ наличномъ составѣ преподавателей совершалось весьма туго. П. В. Павловъ выбылъ когда я былъ еще на первомъ семестрѣ, и затѣмъ до самаго окончанія курса и еще нѣсколько лѣтъ послѣ, кафедра русской исторіи оставалась вакантною, не смотря на то, что именно въ Кіевѣ, въ виду исключительныхъ условій края и политическихъ событій 1861-63 годовъ, кафедра эта имѣла большее значеніе, чѣмъ гдѣ либо. Шульгинъ тоже лѣтъ пять оставался незамѣщеннымъ, такъ что Ставровскій пребывалъ единственнымъ представителемъ исторической науки на факультетѣ, имѣющемъ спеціальное историческое отдѣленіе. Универ-

ситеть, т. е. совѣтъ, вступалъ, сколько мнѣ извѣстно, въ переговоры и съ Н. И. Костома-  
ровымъ, и съ г. Иловайскимъ, и съ тѣмъ же  
Шульгинымъ, и еще съ кѣмъ-то, искалъ про-  
фессоровъ даже въ нѣдрахъ семинарій и ду-  
ховныхъ академій, но все это ни къ чему не  
приводило. Разумѣется, кромѣ  
провинціального положенія университета и  
незавиднаго состава факультета, дѣйствовали  
тутъ еще и другія причины, и главнымъ обра-  
зомъ интриги въ самомъ совѣтѣ, гдѣ предста-  
вителями факультетскихъ интересовъ явля-  
лись такіе «дѣятели науки», какъ Ставровскій  
и А. И. Селинъ.

Послѣдній, съ переходомъ Н. Х. Бунге на  
юридическій факультетъ, вошелъ въ боль-  
шую роль, былъ избранъ деканомъ.  
Дѣйствительно, никто лучше его не могъ  
представлять своей особой истори-  
ко-филологическій факультетъ въ томъ жал-  
комъ состояніи, въ какомъ онъ очутился съ  
1863 года. Александръ Ивановичъ Селинъ  
преподавалъ исторію русской словесности.  
Онъ вышелъ изъ московскаго университета,  
откуда вмѣстѣ съ сомнительнымъ запасомъ

учености вынесъ только благоговѣйное поклоненіе Шевыреву и нѣкоторые смутные отголоски славянофильства. Личность совершенно бездарная, онъ хотѣлъ блистать краснорѣчіемъ и стяжать популярность среди студентовъ. Краснобайство его дѣйствительно не знало мѣры. Онъ сидѣлъ совершеннымъ шутомъ на кафедрѣ, кривлялся, скалилъ зубы, кидалъ нецензурные намеки псевдолиберальнаго свойства, закатывалъ глаза – однимъ словомъ изображалъ актера, срывающаго рукоплесканія съ александринскихъ верховъ. По содержанію, лекціи его были до невѣроятности скудны и жалки. Въ древнемъ періодѣ онъ придерживался буквально Шевырева, и это еще было сносно – по крайней мѣрѣ студенты знали какъ готовиться къ экзамену. Но съ новой русской литературой онъ творилъ нѣчто невѣроятное. Вся фактическая часть отбрасывалась всторону, съ кафедры лилась разнузданная болтовня о Малороссіи, о Польшѣ, о Мицкевичѣ, о Погодинѣ, декламировались стихи Хомякова, прочитывалась зачѣмъ-то «Небожественная комедія» Красинскаго, переведенная бѣлыми

стихами самимъ профессоромъ. Огромное значеніе, придаваемое Селинымъ этому мистическому созданію польскаго поэта, объяснялось впрочемъ желаніемъ привлечь въ свою аудиторію поляковъ, составлявшихъ большинство въ университетѣ. И дѣйствительно, студенты ломились въ огромную аудиторію Александра Ивановича, воображавшаго, что онъ устраиваетъ примиреніе съ поляками. Въ то время, т. е. передъ 1863 годомъ, поляки въ юго-западномъ краѣ дѣйствительно много говорили о примиреніи, о союзѣ польской и русской (т. е. украинофильской) молодежи. При общемъ настроеніи тогдашняго студенчества, при замѣтномъ развитіи украинофильскихъ тенденцій, такой союзъ, хотя бы и временный, могъ бы повлечь для университета важныя и прискорбныя послѣдствія. Но предшествовавшая дѣятельность попечителя округа, Н. И. Пирогова, имѣла между прочимъ то значеніе, что студенты-малороссы поняли глубокое различіе между видами польской и украинофильской партій, и держались чрезвычайно недовѣрчиво.

При всемъ своемъ шутовствѣ и бездарности, Селинъ все таки производилъ впечатлѣніе, какъ будто живого челоуѣка, искавшаго связи съ молодежью, жившаго въ сферѣ политическихъ и литературныхъ интересовъ. Въ устахъ его эти интересы скорѣе профанировались, чѣмъ освящались, но все таки студенты чувствовали, что этотъ челоуѣкъ чего то ищетъ, чѣмъ то хочетъ жить. О прочихъ профессорахъ и этого нельзя было сказать. Печать провинціальности, старомоднаго и тупаго гелертерства, а подчасъ и просто невѣжества, лежала на нихъ такимъ толстымъ слоемъ, что изъ подъ него невозможно было что нибудь выкопать. Адъюнктъ Селина, почтенный Андрей Ивановичъ Линниченко, читавшій теорію поэзіи, былъ челоуѣкъ безконечно добрый и честный, съ хорошо направленными симпатіями, но кажется не особенно любившій свою спеціальность — по крайней мѣрѣ, мало старавшійся побороть равнодушіе, обнаруживаемое студентами къ его лекціямъ; его, если можно такъ выразиться, заѣдала собственная скромность. Философія въ мое время не чита-

ласть вовсе, психологію и логику мы слушали у профессора богословія; но существовалъ спеціалистъ по философіи, Сильвестръ Сильвестровичъ Гогоцкій, авторъ неоконченнаго и очень плохого «Философскаго лексикона», читавшій педагогику (послѣ, съ 1863 года, онъ читалъ исторію философіи, и не думаю чтобъ съ успѣхомъ). Я вспоминаю объ этомъ почтенномъ профессорѣ съ нѣкоторымъ даже чувствомъ умиленія, какъ о чемъ то забавно-слабомъ, добродѣтельномъ и невмѣняемомъ. Точно сейчасъ вижу высокую, худощавую фигуру, во фракѣ съ необычайно узкими рукавами и въ сѣренькомъ жилетѣ, съ выраженіемъ какой то благодушной ироніи на старческомъ лицѣ. Для меня не было никакого сомнѣнія, что дома Сильвестръ Сильвестровичъ носитъ колпакъ. Лекцій его я совсѣмъ не помню, вѣрнѣе сказать изъ всего курса помню только одну фразу: говоря о томъ, что личность самого воспитателя имѣеть большое значеніе въ дѣлѣ воспитанія, почтенный профессоръ выразился между прочимъ такимъ образомъ: «педагогъ долженъ быть одѣтъ не съ роскошествомъ, но съ изы-

ществомъ» – и при этомъ привсталъ на каедрѣ и съ благодушной улыбкой оглянулъ свой собственный узенькій фракъ (мнѣ почему то казалось, что въ такихъ фракахъ расчетливые наслѣдники должны класть въ гробъ опочившихъ родственниковъ), свой сѣренькій съ мелкимъ узорчикомъ жилетъ, и свой бисерный шнурокъ къ часамъ... Помню еще, что передъ экзаменомъ Сильвестра Сильвестровича я никакъ не могъ достать его записокъ, и пошелъ совсѣмъ безъ приготовленія. Мнѣ попался первый вопросъ: понятіе о педагогикѣ, какъ наукѣ, и раздѣленіе ея на части. Пришлось излагать свое собственное понятіе... Осиливъ кое-какъ этотъ пунктъ, я началъ импровизировать въ родѣ того, что такъ-какъ воспитаніе обнимаетъ стороны физическую, умственную и нравственную, то сообразно тому и педагогика дѣлится на три части... Тутъ почтеннѣйшій Сильвестръ Сильвестровичъ, слушавшій меня съ обычною благодушно-ироническою улыбкою, прервалъ замѣчаніемъ: «это вы все рассказываете по здравому смыслу, а вы бы рассказали по моимъ запискамъ». Я выра-

зиль сомнѣніе, можетъ ли существовать разногласіе между здравымъ смысломъ и записками ученаго профессора – и экзамень благополучно закончился.

Очень ученые люди были также профессора классической словесности, гг. Дёлленъ и Нейкирхъ. Обоихъ произвела дерптская почва. Дёллена я зналъ раньше, онъ былъ назначенъ Пироговымъ директоромъ первой гимназіи, и этотъ выборъ, какъ всѣ выборы Пирогова, былъ вполнѣ удаченъ. Трудно представить себѣ болѣе добросовѣстнаго, гуманнаго, симпатичнаго педагога. Съ сожалѣнію, онъ оставался нѣмцемъ, и я это испытывалъ не только въ гимназіи, но и въ университетѣ. Оба дерптскіе питомца были отличные филологи, но въ такомъ узкомъ смыслѣ, до такой степени внѣ связи съ русскимъ образованіемъ, съ русской литературой, съ русской молодежью, что произошло очень странное явленіе: въ гимназіи, гдѣ учителя латинскаго языка конечно гораздо меньше знали, гдѣ мы сами конечно меньше сознавали научное значеніе древнихъ языковъ – мы присутствовали на урокахъ латинскаго учи-

теля съ гораздо большимъ интересомъ, чѣмъ на лекціяхъ нѣмецкихъ филологовъ. Помню, что когда уважаемый И. Я. Ростовцевъ (учитель кievской первой гимназіи) рассказывалъ намъ о жизни Саллюстія, или Ливія, объяснялъ историческое и литературное значеніе «Катилинской войны» или комментаріевъ Цезаря, мы слушали его положительно съ наслажденіемъ, въ насъ загоралось желаніе ближе войти въ этотъ любопытный міръ, полный такихъ яркихъ красокъ; а когда Дёлленъ или Нейкирхъ излагали курсъ литературы, или древностей, стараясь говорить настолько медленно, чтобъ мы могли записать лекцію – весь интересъ къ предмету пропадалъ. И это происходило не потому, чтобъ насъ затрудняла латинская рѣчь профессоровъ – они умѣли говорить очень понятно, – а потому что въ ихъ устахъ древность явилась можетъ быть весьма близкою къ ихъ нѣмецкому фатерланду, но весьма далекою отъ какой бы то ни было, хотя бы лишь литературной, связи съ русской мыслью и жизнью.

Въ эпоху предшествовавшую возстанію, Кіевскій университетъ былъ изъ самыхъ многолюдныхъ. Число студентовъ значительно переходило за тысячу, тогда какъ послѣ возстанія сразу сократилось до 400 съ чѣмъ то. Это даетъ понятіе, какъ велико было число поляковъ. Польскій языкъ преобладалъ. Не смотря на русское преподаваніе и русское управленіе, поляки держали себя въ положеніи господствующей національности и, надо прибавить, что такое положеніе опиралось не на одномъ только численномъ преобладаніи. Юго-западный край въ то время былъ чисто польскій край. Польское дворянство, богатое, образованное, сплоченное въ солидарную массу, владѣло двумя третями поземельной собственности, дававшей отличный доходъ, и съ помощью крѣпостного права держало въ безусловной зависимости коренное русское населеніе. Здѣсь, на благодатной почвѣ Украйны, отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ издавна приняли чисто феодальный характеръ. Поляки были завоеватели, утвердившіе свое господство послѣ про-

должительной кровавой борьбы. Отъ Хмельницкаго до гайдамачины, край былъ постоянно заливаемъ кровью, и когда наконецъ русская національность, истощенная, истерзанная, извѣрившаяся, отказалась отъ дальнѣйшихъ бесплодныхъ попытокъ освобожденія – польское шляхетство налегло на нее съ надругательствомъ, съ мстительнымъ чувствомъ врага, у котораго еще болятъ раны, нанесенныя поверженнымъ нынѣ во прахъ противникомъ. Разность не только племенная и сословная, но и вѣроисповѣдная, кровавые призраки крестьянскихъ и казацкихъ возстаній, необходимость пользоваться евреями, какъ посредствующей связью между шляхтой и народомъ – все это до такой степени обостряло отношенія между помѣщиками и крестьянами, что здѣсь крѣпостное право получило характеръ, какого оно не имѣло нигдѣ болѣе, не только на Руси, но и въ Западной Европѣ. Помѣщики были не только собственниками земли и хлопковъ, они были политической силой, стоявшей военнымъ лагеремъ въ завоеванной странѣ, дѣйствовавшей не только во имя своихъ частныхъ, экономи-

ческихъ интересовъ, но и во имя идеи польскаго господства. Понятно, что изъ сферы крѣпостнаго права эти воззрѣнія и отношенія переносились вообще на все русское населеніе края. На чиновниковъ, изъ которыхъ только и состоялъ русскій городской элементъ, поляки смотрѣли презрительно. Лѣстя мѣстнымъ административнымъ іерархамъ, они въ то же время считали себя людьми лучшаго общества, представителями аристократическаго начала, европеизма, культуры. Хуже всего при этомъ было то, что многія лица высшей мѣстной администраціи раздѣляли тотъ же взглядъ, и по аристократической тенденціи считали себя ближе къ польскому магнату, чѣмъ къ русскому офицеру, или чиновнику. Эти администраторы, хотя бы ихъ гербы не восходили далѣе минувшаго царствованія, старались всячески показать, что только обязанности службы заставляютъ ихъ дѣйствовать въ такъ называемыхъ «русскихъ видахъ», но что ихъ личныя сочувствія, какъ людей «хорошаго общества», принадлежатъ польской аристократіи. Съ особенною рѣшительностью высказывались

въ этомъ смыслѣ административныя дамы, перенесшія съ собою на политическую почву юго-западнаго края кисейныя идеи петербургскаго или московскаго бомонда. Не трудно понять, какъ эти русскіе люди «хорошаго общества» питали польскую заносчивость и брезгливое отношеніе поляковъ ко всему русскому.

Въ сороковыхъ годахъ, Кіевъ сдѣлался главнымъ центромъ украинофильства. Это была еще очень молодая, неорганизованная сила, выступившая не столько въ отпоръ польской идеѣ, сколько во имя общихъ освободительныхъ началъ, общаго протеста противъ государственной централизаціи. Послѣднее значеніе опредѣлялось тѣмъ яснѣе, что русская власть относилась къ украинофиламъ очень подозрительно и строго. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ, обѣ идеи, польская и украинофильская, стояли лицомъ другъ противъ друга, подъ общей опалой власти; послѣдняя считалась даже опальнѣе, потому что была вполнѣ демократическая, и не имѣла за собою сочувствія дамъ хорошаго общества. Въ виду уже сильно обнаруживавшагося политическаго броженія, взаимное отношеніе обѣихъ партій получало существенную важность. Еслибъ украинофилы дали увлечь себя полякамъ, возстаніе разыгралось бы въ несравненно большихъ размѣрахъ, могло бы имѣть болѣе серьезный, во всякомъ случаѣ болѣе кровавый исходъ. Первый, кто вполнѣ понялъ истинное

положеніе дѣль въ краѣ, былъ человекъ посторонній, прїѣзжій, одинаково мало знавшій какъ поляковъ, такъ и хохломановъ – Николай Ивановичъ Пироговъ.

Я былъ еще въ гимназіи, когда его перевели изъ Одессы въ Кіевъ, попечителемъ учебнаго округа. Дать ходъ человеку такой глубокой образованности, такихъ свѣжихъ и гуманныхъ взглядовъ, казалось очень серьезной мѣрой. Я думаю, что это была лишь полумѣра. Пироговъ до такой степени не походилъ ни на официальныхъ педагоговъ, ни на іерарховъ учебной и иной администраціи, съ которыхъ крымская война сорвала маски, что его надо было или вовсе не трогать, или дать ему назначеніе въ Петербургъ, гдѣ его дѣятельностью обозначился бы полный переломъ во взглядахъ на учебное дѣло, гдѣ онъ служилъ бы точкою исхода новаго движенія. Въ провинціи дѣятельность его получила очень ограниченное значеніе. Онъ отличался отъ другихъ попечителей, но именно потому что онъ дѣйствовалъ въ Одессѣ, или въ Кіевѣ, никто изъ этихъ другихъ попечителей не считалъ возможнымъ подражать ему. На

него такъ и взглянули – какъ на нѣчто исключительное, и развѣ что любопытное, но не болѣе.

Появленіе Николая Ивановича въ Кіевѣ было сигналомъ борьбы новыхъ идей со старымъ режимомъ, поколебленнымъ, но еще не снесеннымъ крымскою войною. Съ дымящихся развалинъ Севастополя онъ несъ съ собою тотъ новый духъ, который такъ оживилъ русское общество въ концѣ 50-хъ годовъ;– духъ реформы, гуманности, культурности. Мы въ немъ встрѣчали «новаго человѣка», глубоко-образованнаго, ненавидящаго рутину, преданнаго смыслу, а не формѣ, человѣка, который на своемъ важномъ постѣ не хотѣлъ быть сановникомъ, не хотѣлъ обращать вниманія на обязательный ритуаль, хотѣлъ дѣлать только одно настоящее дѣло, дѣлать его по убѣжденію, отъ сердца, какъ у насъ дѣлаютъ только одни личные дѣла. Помню, какъ всѣхъ поражала его простота обращенія, его неограниченная доступность, его совсѣмъ не официальная манера держать себя съ генераль-губернаторомъ, его привычка являться въ университетъ въ пальто съ заложеными

ми въ рукава руками... Мы тотчасъ поняли, что въ Николаѣ Ивановичѣ надо искать челоуѣка, а не сановника, и какъ горячо полюбили его всѣ у кого въ мысли и въ сердцѣ жило нѣчто порядочное – это высказалось на его проводахъ, обратившихся въ высоко-знаменательное событіе для цѣлаго края...

Въ университетѣ время управленія Пирогова совпало съ началомъ студентскихъ волненій. Я считаю это большимъ благополучіемъ для университетской молодежи, т. е. русской молодежи, потому что Пироговъ, какъ уже упомянуто выше, сразу разгадалъ настоящую подкладку этихъ волненій и разъяснилъ мѣстному обществу политическое положеніе дѣла. Онъ, и притомъ только онъ одинъ, сразу понялъ, что русское государство имѣетъ врага лишь въ польской партіи, что украинофильство не только не опасно ему, но при исключительныхъ условіяхъ мѣста и времени даже можетъ сослужить ему службу. И вотъ для всѣхъ способныхъ ясно понимать вещи, тотчасъ опредѣлилась система Пирогова: не давить украинофильскую тенденцію, а взять ее въ руки, сдѣлать изъ

нея опору русской идеи въ борьбѣ съ польскою, предупредить возможность союза обѣихъ партій, указать украинофиламъ общую опасность. Въ этихъ видахъ Пироговъ не только допускалъ студентскія сходки, депутаціи, адреса и т. д., но онъ такъ сказать самъ вошелъ въ движеніе, чтобъ овладѣть имъ и направить въ противоположную отъ польской пропаганды сторону. Высшая мѣстная администрація не понимала плановъ Пирогова, какъ не понимала его манеры держать себя, его сознанія челоуѣка подъ мундиромъ четвертаго класса; начались неудовольствія, интриги, и величайшій изъ русскихъ педагоговъ былъ отозванъ отъ своей высокой миссіи, въ самое трудное для края время. Но то, что уже было имъ сдѣлано, принесло плоды: союзъ украинофиловъ съ поляками былъ предупрежденъ, и ни одинъ изъ русскихъ студентовъ кіевскаго университета не ушелъ въ возстаніе. Этимъ результатомъ край былъ обязанъ исключительно Пирогову.

Я былъ очевидцемъ, какъ съ отъѣздомъ Пирогова изъ Кіева оживилась польская пропаганда, и преобладаніе польскаго элемента

въ университетѣ сдѣлалось замѣтнѣе чѣмъ прежде. Поляки, вообще очень проникательные въ политикѣ, давно разгадали въ Николаѣ Ивановичѣ самаго опаснаго своего противника; да и кромѣ того, присутствіе въ краѣ такого крупнаго русскаго человѣка, такого блестящаго представителя русской національности, было для нихъ очень стѣснительно. Я увѣренъ, что со временемъ обнаружится очень значительная роль польскаго вліянія въ обширной интригѣ, свергнувшей Пирогова.

Подъемъ польскаго элемента въ университетѣ съ 1861 года сталъ особенно замѣтенъ благодаря тому, что какъ разъ въ это время была отмѣнена студентская форма. Явились тотчасъ національные костюмы, подъ которыми отличать поляка отъ малоросса было гораздо легче, чѣмъ подъ форменными сюртуками. Видъ аудиторій и корридоровъ совершенно измѣнился. Прежде, между студентами, бросались въ глаза молодые люди достаточныхъ семействъ, одѣвавшіеся у лучшаго городскаго портного, умѣвшіе въ своей форменной одеждѣ обнаружить щегольство и

претензіи на свѣтскость. Поляки, сыновья богатыхъ мѣстныхъ помѣщиковъ, особенно старались отличаться аристократическою внѣшностью и манерами. Съ отмѣною формы всѣ эти господа куда-то исчезли. Отчасти ихъ унесли быстро назрѣвавшія въ Варшавѣ событія, такъ какъ большинству изъ нихъ предстояло играть видную роль въ предстоявшей, по существу своему чисто аристократической революціи; отчасти, можетъ быть, они были запуганы преобладающей массой сѣрыхъ и рыжихъ свитокъ, чамарокъ, смазныхъ сапоговъ и лохматыхъ головъ, наполнившихъ аудиторіи вслѣдъ за отмѣной формы. Университетъ демократизировался какъ бы по мановенію волшебнаго жезла – и не по одному только внѣшнему виду. Въ польской партіи, державшейся до сихъ норъ неизмѣнно самыхъ непримиримыхъ шляхетскихъ тенденцій, обнаружилось замѣчательное явленіе: горсть молодежи, сблизившись съ украинофилами, сумѣла отрѣшиться отъ этихъ тенденцій и выступила съ радикально-демократической программой, оскорбившей самымъ чувствительнымъ

образомъ старую польскую партію. Во главѣ отщепенцевъ стоялъ студентъ Рыльскій, очень энергическая и интересная личность, одна изъ тѣхъ личностей, которыя какъ будто нарочно созданы для того, чтобъ вобрать въ себя что-то новое, еще незамѣтное для другихъ, и дать ему форму. Не знаю, какая судьба постигла вполсѣдствіи этого замѣчательнаго человѣка — говорили, что онъ принялъ православіе и женился на простой казачкѣ, — но роль его въ кіевскомъ университетѣ въ 1861-63 гг. была очень вліятельная: онъ какъ-бы продолжалъ дѣло, похищенное изъ рукъ Пирогова. Ненависть къ нему поляковъ была безпредѣльная; рассказывали, что его хотѣли убить. Энергія, съ какой онъ изобличалъ шляхетскую подкладку зачинавшагося движенія, безъ сомнѣнія не мало содѣйствовала тому, что съ 1861 года взаимныя отношенія поляковъ и русскихъ въ стѣнахъ университета приняли чрезвычайно острый характеръ. Дѣло доходило до угрозъ вареѡломеевской ночью, и я помню, что мы одно время принимали серьезныя мѣры предосторожности, собирались на ночь боль-

шими группами, и баррикадировали двери и окна... Въ аудиторіяхъ, въ сборной и читальной залахъ, поляки и русскіе держались, какъ два враждующіе лагеря; готовилась борьба за обладаніе университетомъ, противники косились другъ на друга, выжидая событій...

Съ конца 1862 года университетъ сталъ быстро пустѣть. Еще раньше, по-одиночкѣ, поляки начали куда-то исчезать; передъ зимними каникулами дезертирство усилилось, а послѣ новаго года большинство поляковъ не возвратилось. Рыльскій и украинофилы, оставшись на покинутыхъ позиціяхъ, торжествовали.

Близъ зданія университета находился большой, извѣстный всему городу манежъ ветерана старыхъ польскихъ войскъ, Ольшанскаго. Если не ошибаюсь, онъ преподавалъ верховую ѣзду казеннокоштнымъ студентамъ-медикамъ, готовившимся на должности военныхъ врачей.

Онъ былъ любимцемъ польской аристократической молодежи, сходившей съ ума отъ его старо-уланскихъ, длинныхъ бѣлыхъ усовъ и восторженныхъ рассказовъ о

возстаніи 1830 года. Въ концѣ апрѣля, или въ началѣ мая, въ чудную весеннюю ночь, небольшія группы всадниковъ выѣхали однѣ за другими изъ воротъ манежа и направились мимо университета на житомирское шоссе. За Триумфальными воротами всадники остановились, поджидая товарищей и строясь въ походную конную колонну. Это были запоздалыя жертвы польской идеи, юноши и мальчишки, студенты и гимназисты, сформировавшіе единственную, цѣликомъ выступившую изъ Кіева конную банду.

Въ домѣ моего отца стояли на постоѣ драгуны. На разсвѣтѣ я услышалъ, что они сѣдлаютъ коней. Затѣмъ ихъ сѣрые силуэты, въ походной формѣ, тихо промелькнули мимо моихъ оконъ. Я одѣлся, вышелъ на улицу и узналъ, что ночью выступила изъ города банда, и что эскадронъ драгунъ и казачья сотня пущены вслѣдъ за ней. Я бѣгомъ вернулся домой, велѣлъ закладывать лошадей, и полчаса спустя догналъ нашъ отрядъ.

Въ 14 верстахъ отъ города, у д. Борщаговки, банда была настигнута. Казаки обскакали ее съ двухъ сторонъ, драгуны завязали

перестрѣлку. Минуть двадцать пули свистали, ломая пушистыя вѣтви ивъ; затѣмъ импровизированные польскіе кавалеристы стали поодиначкѣ прорываться сквозь казачью цѣпь. Крестьяне собрались со всѣхъ сторонъ ловить ихъ. Одинъ драгунъ и двое казаковъ были убиты; ихъ потомъ съ печальною торжественностью похоронили въ Кіевѣ.

Я въ эти дни сдавалъ свои послѣдніе университетскіе экзамены. Школьные года кончились...

